

Максим Власов

**Жизнь без
ЖИЗНИ**

Тяжесть пустых рук

Максим Власов

Жизнь без жизни

<https://litres.ru/74606052>

SelfPub; 2026

Аннотация

Каждый их день — точная копия предыдущего: яичница, цифры, суп, сон. Они не помнят, как познакомились, не помнят ничего до этой квартиры, и их это не беспокоит. Почти. Но однажды ночью сон не приходит, и в тишине начинает звучать то, что было заглушено годами. Это история о том, что тело помнит даже тогда, когда разум отказывается. О цене покоя, о любви, которая не исчезает вместе с памятью, и о нити, которую не разорвёт ни один препарат.

Содержание

Глава 1. Идеальный механизм	4
Глава 2. Первые трещины	18
Глава 3. Слепые пятна	29
Глава 4. Нарушитель спокойствия	41
Глава 5. Первые тени	51
Глава 6. Воскрешение через истощение	62
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Максим Власов

Жизнь без жизни

Глава 1. Идеальный механизм

Будильник должен был зазвонить в семь.

Он знал это так же точно, как знал, что за окном — серое небо, что жена уже стоит на кухне, что вода в чайнике сейчас ещё холодная, но через три минуты начнёт шуметь, а через пять — закипит. Он знал это до того, как открывал глаза. Знал телом, кожей, каким-то глубоким, досознательным уровнем восприятия, который не требует ни мыслей, ни доказательств. Просто — знает. Как знает человек, что дышать нужно именно сейчас, а не через секунду.

Без одной минуты семь он перевернулся на бок, протянул руку к тумбочке и положил палец на кнопку будильника. Телефон лежал экраном вниз — так он клал его каждый вечер, и так он брал его каждое утро. Палец лёг на ребро корпуса, нащупал кнопку сбоку. Секунда. Две. Экран должен был загореться. И он загорелся — без одной минуты семь. Без единой секунды погрешности. Он нажал кнопку до того, как раздался первый звук.

Тишина осталась неразрушенной.

Он лежал ещё несколько секунд, глядя в потолок. Потолок

был белый, ровный, без трещин, без разводов, без пятен. Он не помнил, когда этот потолок стал его потолком. Не помнил, когда переехал в эту квартиру. Не помнил, как выбирал обои — если выбирал. Не помнил, вешал ли люстру сам или она уже висела. Эти мысли пронеслись быстро, как облака за окном, не задев ничего важного, не зацепив ни одной эмоции. Они просто были. А потом их не было.

Он сел на кровати.

Постель была уже наполовину пуста. Справа, на жениной стороне, одеяло было откинута, подушка примята — единственное доказательство того, что рядом с ним ночью кто-то лежал. Сама она, конечно, уже давно ушла. Он не слышал, как она встала. Он никогда не слышал. Она двигалась по квартире бесшумно, как тень, как приложенный к реальности силуэт, который существует, но не проявляет себя в звуке. Иногда, если он задерживал дыхание и прислушивался, он мог различить лёгкий шлёпок босых ног по кафелю в коридоре. Но это было редко. Обычно — тишина.

Он опустил ноги на пол. Линолеум был холодный. Не ледяной, не обжигающий — просто холодный, ровно настолько, чтобы почувствовать, что ноги касаются чего-то плотного и чужого. Он встал. Рост — он не знал своего роста точно, но потолок в коридоре был достаточно высок, чтобы он не мог дотянуться до него даже вытянув руки, и достаточно низок, чтобы ощущать пространство давящим. Квартира была небольшая. Две комнаты, кухня, совмещённый санузел. Всё

функционально, всё на своих местах. Ничего лишнего.

В коридоре он посмотрел на себя в зеркало. Зеркало висело на стене, небольшое, в простой пластиковой раме. Из него на него смотрел мужчина лет тридцати пяти — может, тридцати шести, может, тридцати семи. Лицо было гладкое, без особых морщин, но с какой-то внутренней усталостью, которая проступала не в складках кожи, а в чём-то другом — в отрешённом выражении глаз, в покое губ, в том, как лицо существовало само по себе, без всякого намерения что-то выразить. Глаза смотрели на него и не видели его. Он смотрел на себя и не узнавал. Нет, не так — он узнавал, но без чувства. Как узнают предмет мебели, который стоит в углу столько лет, что перестаёшь его замечать.

Он провёл рукой по лицу. Щетины не было. Он брился каждый вечер, перед сном, хотя не помнил, когда начал это делать и почему вечером, а не утром. Просто — вечером. Перед сном. Как все ритуалы его жизни — без вопроса, без сомнения, без попытки изменить существующий порядок вещей.

Кухня встретила его умеренно приятным запахом. Запахом имеющейся, но пока ещё не готовящейся еды. Масло, которое ещё не налито на сковороду, но уже предчувствуется. Хлеб, который ещё не достали из пакета, но воздух уже знает, что достанут. Это было странное свойство их кухни — она пахла тем, что будет, а не тем, что есть.

Жена стояла к нему спиной.

Она стояла у плиты, и он видел её силуэт — узкие плечи, мягкую линию спины, волосы, собранные в хвост. Волосы были русые, не длинные, не короткие. Халат — серый, застёгнут на все пуговицы до горла. Она не оборачивалась, когда он входил. Не оборачивалась никогда. Она не игнорировала его, она просто знала, что он пришёл. Она всегда знала. Как он знал про будильник. Каким-то глубинным, досознательным чувством, которое не требует ни звуков, ни подтверждений.

— Доброе утро, — сказал он.

— Доброе, — ответила она.

Голос был тихий, ровный. Без интонации. Не холодный — нет. Не равнодушный. Просто — ровный. Как линия на кардиограмме, которая идёт и идёт, без скачков, без провалов, без пиков. Живая, но еле-еле.

Он сел за стол. Стол был небольшой, квадратный, покрыт клеёнкой с цветочным узором, который он не помнил, когда появился. Стул был деревянный, с мягкой подкладкой, которая продавилась от постоянного сидения. Он сел на один и тот же стул каждое утро. Справа от него было окно — серое, как и вчера, как и позавчера, как и всегда, насколько он мог помнить. За окном — двор, деревья без листьев [или с листьями? он не обратил внимания], соседний дом, такая же серая стена с такими же окнами.

Она поставила перед ним тарелку. Яичница из двух яиц, два куска хлеба, масло в маслёнке. Чай в кружке — белой,

без рисунка, с одной трещиной на ручке, которую он столько раз держал в руках, что она стала частью его ладони. Чай чуть горчил. Как всегда. Он не обращал внимания.

Он посмотрел на еду. Еда была правильная. Два яйца — глазунья, белок плотный, желток жидкий, посередине, не растёкшийся. Хлеб отрезан ровно. Масло разрезано ножом, а не намазано — она всегда резала масло маленькими квадратиками и клала рядом с хлебом, не на него.

Она села напротив. У неё была такая же тарелка. Такая же яичница. Такой же чай. Они ели молча. Звук вилок, касающихся тарелок, звук жевания, звук глотания. За окном было тихо. Ни машин, ни голосов, ни ветра. Тишина. Ни что не обращало на себя никакого внимания. Только этот столовый концерт, повторяющийся изо дня в день, как заезженная пластинка, которую поставили на повтор и забыли переключить.

Он жевал и смотрел на неё.

Она ела, не поднимая глаз. Маленькие кусочки, аккуратные движения, губы сомкнуты. Она не чавкала, не торопилась, не медлила. Каждый её жест был выверен — не осознанно, нет, а как-то глубже, чем осознанность. Как будто её тело выучило эти движения до такой степени, что ни ум, ни душа больше не требовались для их выполнения. Рука берёт вилку. Вилка держит кусочек. Рот открывается, кусочек кладётся на язык, рот закрывается, жуёт, глотает. Рука возвращается. И снова. И снова. Как конвейер. Как механизм.

Он вдруг поймал себя на мысли, которая раньше не приходила — или приходила, но он её не замечал, как не замечаешь муху на стене, пока она не двинется.

Она красивая.

Нет, не так. Она была красивая — в этом не было сомнения. Черты лица правильные, тонкие, кожа светлая, гладкая. Но это была красота неживая. Красота фарфоровой куклы, которую поставили на полку и забыли. Красота восковой фигуры. В ней не было тепла. Не было движения. Не было того, что делает лицо живым — микровыражений, мимических морщинок, складок у глаз, которые появляются, когда человек смеётся или улыбается. Она не смеялась. Он не помнил, чтобы она смеялась или улыбалась. Не помнил, чтобы она плакала. Не помнил, чтобы она злилась. Она просто — существовала. В этом спокойном, ровном, абсолютно нейтральном состоянии, из которого нет ни выхода вверх, ни падения вниз.

— Вкусно, — сказал он. Не потому, что было на самом деле вкусно. Было обычно. Но он говорил это каждое утро, и каждое утро она отвечала одно и то же.

— Я рада, — сказала она.

И... улыбнулась. Коротко. Одними губами. Губы поднялись на долю секунды, обнажив ровные зубы, и вернулись обратно. Глаза не изменились. Глаза остались такими же — спокойными, пустыми, смотрящими сквозь тарелку, сквозь стол, сквозь пол. Это была не улыбка, это было... что-то ими-

тирующее её.

Он допил чай. Встал. Отнёс тарелку в раковину. Она встала тоже, забрала свою тарелку, поставила рядом с его. Открыла кран. Вода полилась. Она начала мыть посуду. Он постоял секунду за её спиной, глядя на то, как её руки двигаются в мыльной воде — губка, тарелка, круговые движения, полоскание, сушилка. Тарелка за тарелкой. Вилка за вилкой. Кружка. Всё в одном и том же порядке. Всё с одной и той же скоростью.

Он вышел из кухни.

Комната, в которой он работал, была маленькая. Стол у стены, на столе — монитор, клавиатура, мышь. Системный блок на полу, под столом, тихо гудит. Стул — офисный, с подлокотниками, регулируемый чёрный, кожаный [или кожзам — он не знал и никогда не задавался вопросом]. Он сел, включил монитор. Экран мигнул, компьютер загрузился. На рабочем столе — папки. Отчёты. Таблицы. Цифры.

Цифры.

Он открыл первую таблицу. Столбцы чисел, выстроенные друг за другом, как солдаты на плацу. Ровные, аккуратные, бессмысленные. Он не знал, что значат эти цифры. Не знал, для кого он их сводит. Не знал, кому отправляет. Просто — открывал, сверял, вводил, формировал отчёт, отправлял по электронной почте. В ответ приходило автоматическое письмо: «Отчёт получен. Спасибо за работу.» И — иногда, не каждый раз — небольшое начисление на карту. Три, четыре,

пять тысяч. Небольшие суммы. Он не думал о них. Не думал, много это или мало. Не думал, на что их хватает. Деньги были на карте — их хватало, чтобы платить за квартиру, за электричество, за интернет, за еду. Этого было достаточно. Или не достаточно — но он не думал об этом.

Цифры плыли по экрану. Он вводил их механически, не задумываясь, не анализируя, не проверяя. Палец нажимал клавишу, цифра появлялась на экране, палец переходил к следующей. Он мог делать это с закрытыми глазами. Он, возможно, и делал — не закрывая глаз физически, но закрывая их внутренне, уходя в какое-то серое, безвидное пространство, где нет ни мыслей, ни чувств, ни времени. Просто — движение пальцев по клавишам. Щёлк, щёлк, щёлк. Цифра за цифрой. Строка за строкой.

Он не знал, сколько времени прошло. На часах в углу экрана было 10:47, когда он открыл первую таблицу. Когда он закончил и отправил отчёт, на часах было 12:13. Полтора часа. Он не помнил этого времени. Не помнил, о чём думал — если думал. Не помнил, менялось ли что-то за окном. Не помнил, вставал ли он. Просто — было 10:47, а стало 12:13. Между ними — пустота. Цифры на экране и пустота в голове.

Он откинулся на спинку стула. Потянулся. Тело хрустнуло — позвоночник, плечи, шея. Звук был привычный, как и всё остальное. Он встал, подошёл к окну. За окном — двор. Та же серая стена соседнего дома. Деревья. Он посмотрел на

них внимательнее. На деревьях были листья. Зелёные. Значит — лето? Или весна? Он не знал, какое сейчас время года. Не то чтобы не знал — он мог бы посмотреть на телефон, там была дата. Но ему не было интересно. Ему не было ни интересно, ни неинтересно. Ему просто, наверное, было всё равно. Ничего не было. Никакого интереса ни к чему.

Из кухни донёсся звук воды. Она снова мыла что-то. Или ту же посуду. Или пол. Или протирала стол. Она всегда что-то делала. Всегда. С утра до вечера — уборка, готовка, стирка, глажка, снова уборка. Она не садилась. Точнее — садилась, но ненадолго. Поела, немного отдохнула, и сразу встала. Сидеть для неё было, видимо, тем же, что для него — стоять на голове: необычное, неестественное положение, из которого нужно поскорее выйти. Она двигалась по квартире, как заводная игрушка, у которой не кончился завод. Но без энергии. Без радости. Без цели. Просто — движение. Ради движения. Ради того, чтобы не останавливаться.

Он вернулся к компьютеру.

Новая таблица. Новые цифры. Новый отчёт. Он открыл, начал вводить. Щёлк, щёлк, щёлк. Палец, клавиша, цифра. Курсор мигал. Он моргал изредка, глядя в экран. Время шло.

В 14:00 она позвала его обедать.

Обед был такой же предсказуемый, как и всё остальное. Суп — какой именно, он не обратил внимания, но суп. Хлеб. Второе — мясо с макаронами или картошкой. Он как-то даже не задумался. Ел, не чувствуя вкуса. Нет — он чувство-

вал вкус. Горячий, солёный, нормальный. Но вкус не вызывал ничего. Ни удовольствия, ни недовольства. Просто — ощущение на языке, которое появлялось и исчезало вместе с куском пищи.

— Как работа? — спросила она.

— Нормально, — ответил он.

— Сколько отчётов?

— Два. Может, три.

Она кивнула. Улыбнулась — так же коротко, как утром, так, что эту мимику и улыбкой-то назвать было трудно: только губы чуть дрогнули. Встала, убрала тарелки. Он постоял в коридоре, не зная, куда идти. Или, нет, не то чтобы не зная — вариантов было два: комната с компьютером или комната с кроватью. Кровать — рано. Компьютер — ещё два отчёта. Он пошёл к компьютеру.

В коридоре, проходя мимо зеркала, он снова увидел себя. Остановился. Посмотрел. Мужчина тридцати пяти — или тридцати шести, или тридцати семи лет. Лицо. Глаза. Рот. Нос. Всё на месте. Всё правильно. Он наклонился ближе к зеркалу, всмотрелся в свои глаза. Глаза смотрели на него. Карие — или тёмно-карие, почти чёрные. В них не было ничего. Ни мысли, ни эмоций, ни воспоминаний. Просто — зрачок и радужка. Биологический механизм, который работает, потому что должен работать. Он смотрел в зеркало и не мог понять — это он? Это правда он? Вот этот человек, который стоит в коридоре, который только что поел суп, ко-

торый сейчас пойдёт вводить цифры в таблицу — это он?

Вопрос повис и растворился.

Он вернулся к столу. Цифры. Таблицы. Щёлк, щёлк, щёлк. Время. 14:47. 15:22. 16:05. Он не чувствовал усталости, не чувствовал бодрости. Он просто — был. Существовал. Занимал пространство, дышал воздухом, потреблял еду, производил щелчки по клавиатуре. Функционировал.

В 18:00 она позвала ужинать.

Ужин был лёгкий — салат, чай, бутерброды. Они сидели друг напротив друга, и он вдруг — вдруг, как вспышка, как искра в тёмной комнате — заметил, что она ест левой рукой. Нет, не левой. Она держала вилку в правой руке, но хлеб брала левой, и левой же подносила его ко рту, между глотками чая. Он не помнил, всегда ли она так делала. Наверное, всегда. Наверное, он видел это сотни раз. Но не думал об этом. Но сейчас — увидел и подумал. Как видишь деталь, которая всегда была перед глазами, но которую мозг почему-то решает отметить именно сейчас, в этот момент, без всякой причины.

Она подняла глаза и поймала его взгляд.

— Что? — спросила она.

— Ничего, — сказал он.

Она опустила глаза и продолжила есть.

Он смотрел, как она жуёт. Как двигается её челюсть. Как глотает. Как берёт хлеб левой рукой. Как откусывает. Как жуёт. Как глотает. Всё это было таким маленьким, таким незна-

чительным, таким обычным — и одновременно таким странным. Станным не в том смысле, что она делала что-то не так. Станным в том смысле, что она вообще это делала. Что она здесь. Что она существует. Что они сидят за одним столом, едят одну еду, живут в одной квартире — и он не помнит, как это началось.

Когда они познакомились? Он не помнил. Когда поженились? Не помнил. Сколько лет они вместе? Не помнил. Была ли у неё другая жизнь, другое лицо, другой голос — до того, как она стала тем, кем она является сейчас? Он не знал. И что хуже всего — его это не беспокоило. Не беспокоило до этой секунды. До этой искры, которая вспыхнула и погасла, оставив после себя лишь лёгкий, едва заметный осадок — как запах дыма от погасшей спички.

После ужина она убрала со стола, помыла посуду, протёрла столешницу, сложила полотенце, повесила его на крючок, проверила конфорки — все выключены, — закрыла кран — не течёт, — и вышла из кухни. Он слышал, как она прошла в ванную, как открыла дверцу шкафчика, как что-то звякнуло — стекло о пластик или металл, — как открылась вода. Она чистила зубы. Он знал каждый звук, каждое движение. Знал их так, как знал звук будильника, запах кухни, трещину на кружке. Знал — и не помнил, как узнал.

Время шло незаметно. Что ещё происходило, он не обратил внимание. Затем только, что в 21:30 она вышла из ванной в пижаме. Серая, как халат. Пуговицы до горла. Она прошла

мимо него — он сидел в кресле в гостиной, не делая ничего, просто сидел, — и сказала:

— Пора спать.

— Да, — сказал он.

Он встал. Почистил зубы — та же паста, та же щётка, те же движения, что и всегда. Умылся. Посмотрел на себя в зеркало — того же мужчину, с тем же лицом, с теми же пустыми глазами. Вышел из ванной, вошёл в спальню. Она уже лежала — на правом боку, спиной к нему, одеяло натянуто до плеч. Он лёг на левый. Выключил свет.

Темнота.

Тишина.

Он лежал и смотрел в потолок. Потолок был чёрный — или не чёрный, а просто отсутствие света создавало такое впечатление, которое глаза интерпретировали как чёрное. Он не чувствовал сна. Сон не приходил — он накатывал. Медленно, как прилив, как тяжёлая, плотная жидкость, которая поднимается от ног к голове, заливая сначала ступни, потом колени, потом бёдра, потом живот, грудь, шею. Он не боролся с ним. Не приветствовал. Просто — лежал и ждал, пока прилив не зальёт голову, пока темнота не станет полной, пока сознание не погаснет, как экран монитора.

Перед тем как уснуть, он подумал — или не подумал, а просто в голове пронеслось, как проносится облако: что-то не так.

Мысль не имела формы. Не имела содержания. Не имела

направления. Просто — что-то не так. С чем — он не мог сказать. С квартирой? С женой? С работой? С ним самим? Он не знал. Мысль повисла на мгновение, как запах, который не можешь определить, — то ли горелый, то ли цветочный, то ли просто воздух изменился и растворилась в приливе сна.

Он заснул.

Спал он без снов. Без видений. Без образов. Просто — выключился. Как выключается лампа. Щёлк — и темнота. Никакого перехода, никакой границы между бодрствованием и сном. Был свет — возникла темнота. Был день — стала ночь. Был он — и не стало его. А потом — через несколько часов, которые прошли как одна миллисекунда — он снова будет лежать в кровати, и будет без одной минуты семь, и его рука потянется к тумбочке, и палец ляжет на кнопку будильника, и он нажмёт её до того, как раздастся звук.

И всё начнётся сначала.

Завтрак. Цифры. Обед. Цифры. Ужин. Зубы. Свет. Темнота. Тишина.

Каждый день.

Каждый.

И он не помнил, было ли когда-нибудь иначе.

Глава 2. Первые трещины

Обед был в 14:00. Всегда в 14:00. Не в 13:58, не в 14:02. В 14:00. Она звала его из кухни — не обязательно голосом, чаще звуком тарелки, которую ставила на стол. Тихий фарфоровый стук о клеёнку. Он слышал его сквозь гудение компьютера, сквозь цифры, сквозь пустоту в голове — и вставал. Стул отъезжал назад, скрипнув ножками и он шёл по коридору на кухню, а она уже сидела за столом, перед ним — его тарелка, перед ней — её. Две тарелки. Две кружки. Два набора приборов. Два куска хлеба. Всё симметрично, ровно, как на картинке.

Сегодня был суп. Горячий, густой, с картошкой и макаронами. Он сел, взял ложку, подул на суп. Она уже ела. Та же манера — маленькие кусочки, аккуратные движения, губы сомкнуты. Он ел и смотрел в тарелку. Суп был нормальный. Вкусный, может быть. Он не чувствовал вкуса так, как, вероятно, должен был его чувствовать. Не в том смысле, что не чувствовал вообще — чувствовал. Горячо. Соль. Картошка. Но это было как описание, а не как ощущение. Как если бы кто-то другой ел этот суп и рассказывал ему, какой он на вкус, а он только слушал.

На середине супа он остановился. Ложка зависла над тарелкой. Он смотрел на суп — на масляные круги на поверхности, на разваренную картошку, на макаронину, которая

развернулась и плавала длинной белой лентой. И вдруг — снова та мысль. Та же, что вчера вечером, перед сном. Что-то не так. Но сегодня она была не облаком, не запахом — она была острее. Конкретнее. Не чётче — конкретнее. У неё появились края.

Деньги.

Он подумал о деньгах. Нет, не совсем так, не подумал, они просто возникли в голове, как возникает надпись на экране, когда нажимаешь нужную кнопку. Деньги. Он получает их за свои отчёты. Сколько? Три, четыре, пять тысяч. Может, иногда шесть. За месяц — двадцать, двадцать пять, может, тридцать. Он не складывал, не считал, не анализировал. Но сейчас — сложил. В голове, молча, пока ложка висела над супом. И получилось — мало.

Мало.

Он поднял глаза на жену. Она ела, не замечая его взгляда. Хлеб левой рукой, вилка в правой. Челюсть двигается. Гло-тает.

— Лен, — сказал он.

Она подняла глаза. Пустые, спокойные. Ждущие.

— Мы всегда так жили? — спросил он.

Вопрос повис между ними, как пылинка в полосе света. Она смотрела на него — секунду, две. Потом губы дрогнули, поднялись, обнажили зубы на мгновение. Улыбка. Вернее, её подобие.

— Конечно, — сказала она. — Всё хорошо. Ешь.

И опустила глаза обратно в тарелку.

Он смотрел на неё ещё несколько секунд. На её макушку, на пробор в волосах, на ушко, чуть выступающее из-под пряди. На шею — белую, тонкую, с горизонтальной складкой, которая появлялась, когда она наклоняла голову. Она снова стала есть, и он снова стал смотреть в суп. Ложка опустилась, зачерпнула, поднялась. Он ел. Но вкус пропал окончательно. Осталась только температура и текстура.

После обеда он вернулся к компьютеру, но не сел. Постоял рядом со стулом, положив руку на спинку. Кожа [или кожзам] была прохладной. Он сжал её, отпустил. Пальцы оставили след — бледный, быстро исчезающий. Он посмотрел на монитор. Экран ещё светился — таблица, открытая на середине, курсор мигал в пустой ячейке. Цифры ждали его. Он не сел. Вместо этого подошёл к окну.

Вот отредактированный вариант с сохранением кинематографичного ритма, атмосферы и настроения фрагмента:

За окном был двор. Он уже видел его утром. Серая стена соседнего дома, деревья, земля. Детская площадка — старая, ржавая, с горкой, на которой никто никогда не играл. Или играл — он не знал. Он не помнил, чтобы смотрел в это окно дольше пяти секунд, но сейчас стоял и всматривался. Небо было серым. Не пасмурным — именно серым. Ровным, однотонным, без облаков, просветов и солнца. Словно кто-то натянул над городом чистый лист и забыл нарисовать погоду. Или может ему так казалось.

Когда он в последний раз чувствовал солнце? Не видел — видел-то он его, наверное, каждый день, мельком, краем глаза. А именно чувствовал. На коже, на лице. Тепло, которое проникает сквозь кожу и растекается внутри, по мышцам и костям. Он закрыл глаза и попытался вспомнить. Тепло. Солнце. Лицо. Летний день. Хоть что-нибудь.

Ничего.

Он открыл глаза. Серое небо. Серый двор. Серая стена. Отошёл от окна и сел за компьютер. Цифры, таблицы, щёлканье клавиш. Но сегодня что-то изменилось. Не в таблицах — они остались те же. Не в пальцах — они двигались всё так же привычно. Изменилось то, что стояло за этими цифрами. Раньше за ними была лишь пустота — серая и безликая, как небо за окном. А сегодня за цифрами проклюнулся вопрос. Один, маленький, назойливый, словно бьющаяся о стекло муха: откуда деньги?

Третий отчёт он закончил в 16:47. Отправил. Тут же пришло автоматическое письмо: «Отчёт получен. Спасибо за работу». Посмотрел на экран, открыл браузер и зашёл в банковское приложение. Баланс карты — четырнадцать тысяч семьсот тридцать два рубля. Он пролистал историю операций. Поступления — по три, четыре, пять тысяч. Регулярно. Откуда-то. От кого-то. Нажал на одну из строчек, чтобы посмотреть подробнее. В графе отправителя — странная аббревиатура. Ни знакомого банка, ни названия известной компании. Он перечитал буквы дважды. Ничего. Ни малей-

шего узнавания, ни единой ассоциации. Просто буквы.

Он закрыл приложение. Открыл снова. Ещё раз посмотрел на баланс. Четырнадцать тысяч семьсот тридцать два рубля. Это были реальные деньги. На них можно было жить: платить за квартиру, покупать еду. Но он совершенно не мог объяснить себе — откуда они. Его отчёты явно не стоили того, чтобы за них платили. Он прекрасно это понимал. И дело было не в том, хороший он работник или плохой [этого он и сам не знал], а в том, что объём работы был просто смехотворным. Три-четыре таблицы в день. Полтора часа за компьютером. Это не работа. Это лишь её имитация. Занятие, которое просто убивает время, но не создаёт абсолютно никакой ценности. Но за него платили. И на карту исправно падали деньги — причём не только за эти отчёты. Были и другие поступления. Регулярные. Одинаковые. Пособия? Пенсии? Компенсации? Он понятия не имел.

Жена. Она не работала. Вообще. Он не мог вспомнить, чтобы она когда-либо работала. Не помнил, чтобы она по утрам уходила куда-то, возвращалась уставшей, рассказывала о коллегах или жаловалась на начальника. Ничего подобного. Она всегда находилась дома. Готовила, убирала, стирала, гладила. Выходила из квартиры лишь ненадолго — в магазин за хлебом, молоком или чем-то ещё. Возвращалась. Клала пакеты на стол. Раскладывала продукты. И продолжала монотонно двигаться по дому, как заведённая игрушка.

Но у неё была банковская карта. Он видел её — всего один

раз, мельком. Она достала её на кассе, когда он пошёл в магазин вместе с ней. Когда вообще это было? Он не помнил. Но отчётливо помнил кусок пластика в её руке, помнил, как она приложила его к терминалу, помнил писк и зелёный огонёк. Деньги были. На её карте тоже были деньги. Но откуда? Она ведь не работает. А он получает слишком мало, чтобы содержать их двоих. И тем не менее деньги откуда-то брались. Она не задавала лишних вопросов. И он не задавал.

До сегодняшнего дня.

В 18:00 она позвала его ужинать. Он вышел из комнаты, пошёл по коридору и по пути снова замер перед зеркалом. Всмотрелся в своё отражение. Тот же мужчина. Тот же привычный взгляд. Но сегодня ему вдруг показалось — или он просто никогда раньше этого не замечал, — что в его глазах появилось что-то совершенно новое. Ещё не оформленная мысль. Ещё не эмоция. Лишь тень. Тень от мысли, которая только зарождается, но уже отбрасывает причудливый узор.

Он наклонился ближе к стеклу. Зрачки расширились, радужка сузилась. Тёмно-карие, почти чёрные глаза смотрели на него в упор, и где-то на самом их дне что-то неуловимо шевельнулось. Даже не само движение, а лишь смутный намёк на него. Как самая первая, невидимая глазу трещина на толстом льду, выдающая себя лишь тихим, едва различимым хрустом.

Он отошёл от зеркала. Сел за стол. Ужин — салат, чай, бутерброды. Она сидела напротив, отламывая хлеб левой ру-

кой. Он посмотрел на её руки. Руки были ухоженными — не салонный маникюр, нет, но чистые, гладкие, ногти без лака, пальцы без мозолей. Руки человека, который не работает физически. Который только готовит и убирает квартиру. Ногти коротко подстрижены, без лака. Кожа светлая, почти белая. На безымянном пальце — кольцо. Золотое, тонкое, обручальное. Он посмотрел на своё — точно такое же. Золотое, тонкое, гладкое. Покрутил его на пальце. Кольцо сидело плотно: не туго, но и не свободно. Как влитое.

— Лен, — сказал он.

Она подняла глаза.

— Где мы познакомились?

Она смотрела на него. Её ложка неподвижно замерла в салате. Лицо — спокойное, абсолютно пустое. Она моргнула. Один раз.

— Не помню, — сказала она. И улыбнулась. — Всё хорошо. Ешь.

И снова опустила взгляд в тарелку.

Он смотрел на неё. Смотрел, как она снова взяла ложку, как зачерпнула салат, как поднесла ко рту. Как жевала. Как глотала. Всё то же самое: та же механика, та же выверенность движений, та же пустота. Но сейчас он видел не только это. Он видел стену. Не физическую — невидимую. Стену, которая стояла между ним и ею. Между ним и прошлым. Между ним и тем, что он должен был знать, чувствовать, помнить — но не знал, не чувствовал и не помнил.

Он не помнил, где они познакомились. Не помнил их первого разговора. Не помнил первого прикосновения, первого поцелуя, их первого дня вместе. Не помнил, как сделал ей предложение — и делал ли вообще? Не помнил свадьбы. Не помнил, как переехал в эту квартиру. Не помнил вообще ничего из того, что было до. До этой конкретной жизни, до всех этих дней, этих обедов, этих ужинов, этих цифр на мониторе. Его жизнь начиналась прямо здесь. В этой квартире. С этой женщиной. С этими тарелками, с этой клеёнкой, с этой трещиной на ручке кружки. Всё, что было до, — стёрто. Ничисто, без остатка, без единого шрама или следа.

И его это не беспокоило.

Вот что пугало — не отсутствие памяти, нет. Не само отсутствие. Пугало то, что его это совершенно не беспокоило. Вот что было по-настоящему страшно. Он прожил тридцать шесть лет — или тридцать семь? — и не помнил из них ни единого дня. Ни одного лица, кроме лица жены. Ни одного места, кроме этой квартиры. Ни одного события, кроме утреннего звонка будильника и вечерней темноты. И его это не беспокоило. Ни капли. Ни тени тревоги. Как будто так всё и должно быть. Как будто жизнь и правда начинается каждое утро в семь часов и заканчивается каждый вечер в половине десятого, а между ними нет ничего, кроме сухих цифр и тарелки супа.

Он доел ужин. Отнёс тарелку в раковину. Она её вымыла. Он почистил зубы. Она почистила зубы. Он лёг в постель.

Она легла рядом. Свет погас. Темнота. Тишина. Привычный прилив сна.

Но сегодня этот прилив накатывал медленнее. Сегодня темнота не была пустой. В ней что-то крылось — не образ, не звук, не оформленная мысль. Лишь намёк. Тень. Ощущение того, что за этой темнотой скрывается что-то ещё. Что-то, чего он не видит, но что пристально наблюдает за ним. Что-то, что выжидает.

Он лежал и смотрел в потолок. Сердце билось ровно: тук, тук, тук. Дыхание — спокойное. Тело — неподвижное. Но в голове, где обычно было абсолютно пусто, где не было ничего, кроме серого безликого пространства, — там сейчас что-то появилось. Что-то маленькое. Тяжёлое. Холодное. Как гладкий камешек на дне тёмного озера, который не виден глазу, но который отчётливо чувствуешь босой ступнёй, когда заходишь в воду.

Что-то не так.

И не то чтобы «что-то не так с квартирой», или «что-то не так с женой», или «что-то не так с деньгами». Нет. Не так было всё. Всё целиком. Вся его жизнь, от утреннего будильника до ночной темноты, была какой-то не такой. Не неправильной — он бы не смог сказать, что именно в ней было неправильно. Не плохой — он не чувствовал себя плохо. А просто — другой. Неестественной что ли.

Словно он жил внутри искусно собранной декорации, которая выглядела совершенно настоящей, но скрывала за со-

бой лишь звенящую пустоту. Как будто кто-то педантично построил этот мир — эту квартиру, эту жену, эти цифры, этот суп — из правильных деталей, но забыл поместить внутрь двигатель. Или душу. Или то единственное, что отличает настоящую жизнь от глухого существования.

Сон пришёл. Медленнее, чем обычно. Тяжелее. Гуще. Как будто он погружался не в воду, а в желе [плотное, вязкое, сопротивляющееся]. И в тот самый момент, когда сознание начало гаснуть, когда темнота стала заливать голову, он услышал. Или не услышал, а почувствовал. Как звук, которого нет, но который тебе знаком. Как мелодию, которую давно забыл, но которая осталась где-то в пальцах, в мышцах, в костях.

Тихий. Далёкий. Неуловимый.

Плач.

Детский плач.

Он исчез. Сон накрыл его, накрыл этот звук, поглотил и стёр. И он заснул [без снов, без видений, без образов]. Как всегда. Щёлк — и темнота.

Но в этой темноте, в самой её глубине, что-то сдвинулось. Не вспыхнуло, не зазвучало — именно сдвинулось. Как тектоническая плита, которая проходит под другой [незамеченная, неосязаемая], но навсегда меняет ландшафт наверху. На миллиметр, на долю миллиметра. Незаметно для глаза, но абсолютно необратимо. Картина мира начала меняться после этого. Неспеша, но начала.

Утром он проснулся. Без одной минуты семь. Рука потянулась к тумбочке. Палец лёг на кнопку. Он нажал на неё за секунду до звука будильника. Тишина осталась неразрушенной.

Он лежал и смотрел в потолок. Белый, ровный, без единого изъяна.

Но где-то внутри — глубоко, там, куда сознание не добивается, где живут не мысли, а лишь их тени, — что-то было не так. И в этот раз он это знал. Не помнил, что именно не так, не понимал причины, но точно знал. Как знаешь, что забыл что-то жизненно важное, но никак не можешь вспомнить, что именно. Это чувство сидело в нём [маленькое и тяжёлое] и никуда не уходило.

Он встал. Пошёл на кухню. Она стояла у плиты, спиной к нему. Халат застёгнут до самого горла. Волосы собраны в тугой хвост.

— Доброе утро, — сказал он.

— Доброе, — ответила она.

Яичница. Два яйца. Хлеб. Ровный квадратик масла. Чай в белой кружке с трещиной на ручке.

Он сел. Она села. Они ели молча. Звук вилок, звук жевания, звук глотания. За окном — всё то же серое небо.

И где-то очень далеко, очень тихо, на самом дне его существования лежал камешек. На дне тёмного озера. Холодный. Тяжёлый. Неотвязный.

Глава 3. Слепые пятна

Дни не отличались друг от друга. В этом он окончательно убедился за следующую неделю — или, может быть, за две. Он не считал. Считать было нечего, потому что каждый день состоял из одних и тех же кирпичиков, уложенных в строго одинаковом порядке. Утро. Яичница. Цифры. Суп. Цифры. Салат. Зубы. Темнота. Эти кирпичики не менялись ни формой, ни цветом, ни размером. Стена, которую они образовывали, оставалась идеально ровной и абсолютно глухой.

Но трещина — та самая, крошечная, которую он почувствовал ночью после разговора о деньгах, — так и не затянулась. Она не росла, не углублялась, не ветвилась. Она просто была. И он носил её в себе так, как носят глубокую занозу: она не болит, если её не трогать, но ты всегда знаешь, что она там.

В среду [он специально посмотрел на экран телефона, чтобы узнать день недели, и сам удивился, зачем ему вдруг это потребовалось] он закончил отчёт гораздо раньше обычного. На часах было 11:20. До обеда оставалось почти три часа. Он откинулся на спинку стула и медленно обвёл взглядом комнату. Стена напротив — бежевая. Шкаф в углу — тёмный, с матовыми ручками. На шкафу — пусто. На полках — тоже. Ни фотографий, ни книг, ни памятных безделушек. Раньше он никогда не замечал этой пустоты. Она казалась

такой же естественной, как ровная пустота белого потолка или серого неба за окном. Но сейчас он отчётливо увидел её — и она вдруг показалась ему чужой. Не страшной. Не тревожной. А ненатуральной. Словно картонная декорация, которую собрали второпях и забыли наполнить живыми деталями. Кто-то ведь обставлял эту квартиру. Скорее всего делая это быстро, не заглядывая вглубь ящиков и за задние стенки полок.

Он встал и подошёл к шкафу. Открыл верхнюю дверцу. Вещи. Его личные вещи: рубашки, свитеры, аккуратно сложенные в стопки. На нижней полке — бельё, носки. Всё чисто выстирано, выглажено, разложено по местам. Он потрогал ткань свитера. Серый, мягкий, тёплый. Хороший, качественный свитер. Но он совершенно не помнил, когда его купил. Не помнил, носил ли вообще. И даже не знал, нравится ли он ему. Свитер просто лежал в шкафу [как лежал там, вероятно, долгие месяцы или даже годы], и он просто машинально брал его, когда становилось холодно, и убирал обратно, когда теплело.

Нижняя дверца. Вещи жены. Блузки, юбки, стопки свитеров. Всё такое же безупречно аккуратное и такое же пугающе безликое. Ни одной яркой вещи. Ни единого узора или принта. Только серое, чёрное, бежевое и тёмно-синее. Глухие цвета, которые совершенно не привлекают к себе внимания. Цвета, за которые просто не может зацепиться взгляд. Он методично перебрал вешалки пальцем, считая про себя.

Восемь блузок, четыре юбки, три свитера. Как-то мало. Для женщины — катастрофически мало. Или всё-таки нормально? Он не имел ни малейшего понятия. Он просто не знал, сколько одежды должно быть у нормальной женщины её возраста.

Закрыв шкаф, он вернулся к рабочему столу. Сел. Монитор тускло светился, в пустом поле равномерно пульсировал курсор. Но он не стал открывать привычную таблицу. Вместо этого он запустил браузер и вбил в поисковую строку: «как улучшить память».

Результатов высыпало множество. Бесконечные статьи, видеоролики, подборки советов. Он открыл первую попавшуюся ссылку и вчитался. «Память — это сложная функция мозга, позволяющая сохранять, воспроизводить и использовать информацию. Нарушения памяти могут быть вызваны хроническим стрессом, систематическим недосыпанием, физической травмой или скрытым заболеванием...» Он перешёл ко второй статье. «Для улучшения когнитивных способностей и памяти настоятельно рекомендуется: полноценный восьмичасовой сон, регулярная физическая активность, постоянная умственная нагрузка, сбалансированное питание...»

Он раздражённо закрыл браузер. Всё это было слишком общо, размыто и совершенно не про него. Он не мог пожаловаться на то, что у него нарушена память, просто потому что у него вообще не было уверенности в том, что эта па-

мать у него когда-то была. А что именно он должен был помнить? Он не знал. У него напрочь отсутствовала точка отсчёта. Невозможно обнаружить в стене дыру, если ты понятия не имеешь, что именно должно было находиться на её месте.

Он отодвинулся от компьютера и снова подошёл к окну. Знакомый двор. Серая бетонная стена. Деревья. Ржавая площадка. На деревянной скамейке у соседнего подъезда неподвижно сидел старик. Он не мог припомнить, чтобы хоть когда-нибудь до этого видел в их дворе других людей. Старик сидел абсолютно неподвижно, положив сухие руки на колени и обратив лицо к слепому серому небу. Как замершая на нагретом камне ящерица. Спустя минуту старик медленно поднялся и, шаркая, скрылся за углом дома. Двор мгновенно опустел. Ни души.

Он прижался лбом к стеклу. Оно было ледяным. Холод медленно пополз по коже, забрался под волосы, сковал виски. Он простоял так, может быть, минуту, а может, и все пять. И всё это время [всё это застывшее, вязкое и абсолютно бессмысленное время] он отчаянно пытался. Пытался хоть что-то вспомнить. Хоть что-нибудь. Хоть кого-нибудь. Любое случайное событие, забытое лицо, далёкое место, обрывок звука или мимолётный запах — абсолютно что угодно, что принадлежало бы не этой душной квартире, не этому дню и не этому бесконечному, закольцованному циклу.

Он закрыл глаза. Темнота. Не та ночная, густая темнота, которая приносит с собой сон. Совершенно другая — внут-

рения. Пустая. Он стоял на пороге собственной памяти, как стоит человек перед открытой дверью в тёмную комнату, не решаясь войти. Не из-за страха. И не потому, что он этого не хочет. А потому, что за этой дверью нет никакой комнаты. Дверь открыта, а за ней — глухая, безликая стена. Ничего.

Он открыл глаза. Медленно отвёл лоб от холодного стекла. На окне остался мутный отпечаток: круглая жирная точка посередине и расходящиеся от неё бледные контуры. Минимально узнаваемый призрак лица на стекле. Он посмотрел на этот след, и ему вдруг показалось, что отпечаток похож на него гораздо больше, чем он сам. Что этот отпечаток — настоящий, а он сам — лишь копия. Бледная, плоская, лишённая подлинника.

В 14:00 она позвала его обедать. Привычный стук тарелки о клеёнку. Он вышел на кухню. Суп. Сегодня уже другой — с горохом. Или это был вчерашний? Он не знал. Сел за стол, взял ложку.

— Лен.

Она подняла глаза.

— Ты помнишь, где ты училась?

Она смотрела на него. Лицо — всё то же. Спокойное. Гладкое. Но сегодня он уловил то, чего никогда не замечал раньше. Или то, чего раньше просто не было. Едва заметную паузу. Крошечную долю секунды, на которую её глаза остекленели и замерли [словно картинка на экране монитора, когда зависает видео]. Пауза — а затем ответ.

— В школе, — сказала она. И дежурно улыбнулась. — А потом? — Потом — хорошо. Ешь.

Она опустила глаза. Ложка зачерпнула суп. Поднесла ко рту. Жевать. Глотать. Тот же отлаженный механизм, та же неизменная последовательность. Но пауза. Он точно видел эту паузу. И она была чем-то совершенно новым. Эта пауза была глубокой трещиной, сквозь которую слабо просвечивало то, чего он пока не мог разглядеть, но что совершенно точно там находилось.

После обеда он вернулся к компьютеру и открыл таблицу. Но прежде чем начать вбивать привычные цифры, он положил руки на колени и закрыл глаза. Решил проверить себя. Вчера — что именно было вчера? Он до боли напряг память. Вчера был... ужин. Салат. Чай. До ужина — отчёты. До отчётов — обед. Суп. До обеда — утро. Яичница. А до яичницы? Ничего. Он совершенно не помнил, о чём думал вчера, что чувствовал и был ли тот день в точности таким же, как этот. Скорее всего, да. Почти наверняка да. Но он никак не мог этого проверить, потому что ничего не помнил. Вчерашний день был от него так же далеко, как и десять лет назад. Так же абсолютно недоступен.

Он открыл глаза и посмотрел на свои руки. Пальцы — обычные, мужские. На правой руке, сбоку на указательном пальце, — плотная мозоль. От шариковой ручки? Но он никогда не писал ручкой. Он целыми днями вводил цифры на клавиатуре, а от клавиатуры такие мозоли не появляются.

От компьютерной мыши — тоже нет. Он потёр этот бугорок на коже. Мозоль была гладкой, желтоватой и явно старой. Типичная мозоль от ручки. Когда он в последний раз писал ручкой? Зачем? И что именно он писал? Вопросы ложились на дно сознания один за другим, словно брошенные в воду камни, и оставались лежать там — тяжёлые, неподъёмные и абсолютно молчаливые.

Вечером, после ужина, он не пошёл в ванную чистить зубы. Вместо этого он молча сел в кресло в гостиной. Она прошла мимо [в серой пижаме на крупных пуговицах] и вдруг остановилась. Посмотрела на него.

— Пора спать, — сказала она. — Иди. Я ещё посижу.

Она замерла на секунду. Потом просто кивнула. Повернулась и ушла в спальню. Дверь осталась открытой. Он отчётливо слышал, как она легла, как зашуршало одеяло и скрипнул матрас. А затем наступила глухая тишина.

Он сидел в кресле. Темнота в этой комнате была совсем другой. Не той привычной ночной темнотой из спальни. Это была темнота гостиной, разбавленная уличным фонарём за окном, бросавшим на потолок вытянутый жёлтый прямоугольник. Он неотрывно смотрел на этот свет. Прямоугольник вздрагивал: ветер раскачивал провода, и по потолку медленно ползли бесформенные тени. В комнате было тихо и зябко. Кресло — глубокое, давно продавленное. Он буквально утопал в нём, и ему начинало казаться, что оно медленно поглощает его, затягивает внутрь, как мягкое болото.

Он не спал. И совершенно не хотел спать. Он хотел [и это было абсолютно новое, незнакомое ему желание, рождённое не физиологической потребностью, а чистым внутренним упрямством] именно не спать. Хотел просто сидеть здесь, в полумраке, смотреть на дрожащий прямоугольник света, чувствовать ночной холод, слушать тишину и — быть. Просто быть. Не спать, не жевать бутерброды и хлебать суп, не вбивать механически цифры, не сидеть за компьютером и не лежать бревном в кровати с закрытыми глазами. Быть.

Время шло. Он не знал, сколько прошло часов или минут. Часы были в телефоне, а телефон остался лежать на тумбочке в спальне. Он не пошёл за ним. Ему вообще не нужно было знать время. Время — это жёсткая рамка, а сейчас он отчаянно хотел оказаться вне любых рамок. Просто сидеть в темноте и смотреть на свет.

Жёлтый прямоугольник на потолке мелко дрожал. Бесформенные тени ползли по углам. Где-то за стеной — очень далеко и глухо — играла музыка. Или бормотал телевизор. Или же это был сам сон, который подобрался незаметно, подкрался сзади и мягко тронул его за плечо.

Засыпая, он помнил, как думал о странной мозоли на пальце. О шариковой ручке, которой он никогда не писал. О школе, в которой его жена, как оказалось, не помнила, как училась. О деньгах, которые каждый месяц появлялись из ниоткуда. И об этой жуткой паузе — той самой доле секунды, на которую её стеклянные глаза намертво зависли, прежде

чем выдать ответ.

А потом — ничего. Густая, полная темнота накрыла его, и он провалился в небытие.

Он не помнил, как дошёл до кровати. Не помнил, как лёг. Утром он обнаружил себя под одеялом, на своей стороне, в той же самой позе, в которой засыпал каждую ночь: на левом боку, лицом к стене. Она уже встала, её половина кровати была пуста. Без одной минуты семь его рука привычно потянулась к тумбочке. Палец лёг на кнопку. Он нажал её за секунду до звука сигнала.

Потолок. Белый. Ровный.

Но что-то изменилось. Не в потолке — в нём самом. В том месте, где вчера образовалась трещина, сегодня стало чуть шире. Ненамного — на долю миллиметра, на толщину волоса. Но шире. Трещина росла. И он знал [знал так отчётливо, как знаешь, что рука болит, даже если не смотришь на неё], что эта трещина уже никогда не закроется. Что она будет неумолимо расти. Что каждый день, каждый обед, каждый ужин, каждая ложка супа и каждая цифра в таблице будут капать в неё капля за каплей. Эти капли будут разъедать края, и трещина поползёт дальше — так ползёт трещина по стеклу, в которое попал камень: медленно, необратимо, пока всё стекло не лопнет с треском.

Он встал и пошёл на кухню. Она стояла у плиты. Спиной к нему. Привычный халат. Волосы, собранные в тугой хвост. — Доброе утро, — сказал он.

— Доброе, — ответила она.

Яичница. Два яйца. Хлеб. Ровный квадратик масла. Чай.

Он сел. Она села. Молчание. Звук вилок. Звук жевания.

Звук глотания.

Он смотрел на неё. Она ела. В левой руке — хлеб. В правой — вилка. Движение челюсти. Глоток. Всё как всегда. И вдруг он увидел это настолько ясно, будто кто-то включил в комнате яркий свет, увидел вспышку. Она — не человек. Нет, не так. Она человек, но в ней нет ничего живого. Не в том смысле, что она мертва: она дышала, моргала, двигалась, ела. А в том смысле, что внутри неё отсутствовала сама жизнь. Не было огня. Не было того, что заставляет человека искренне смеяться без причины, плакать от грустного фильма, злиться на упавшую посуду, ссориться из-за глупой ерунды или обнимать просто так, без повода. Всего этого внутри неё не существовало. Она была пуста. Выпотрошена. Как заброшенный дом, из которого вынесли всю мебель, оставив только голые стены.

Он аккуратно положил вилку.

— Лен, — тихо позвал он. — Ты счастлива?

Она подняла на него глаза. Улыбнулась — коротко, одними губами.

— Конечно. Всё хорошо.

И снова опустила взгляд в тарелку.

Он смотрел, как она жуёт. Как глотаёт. Как берёт хлеб. Откусывает. Жуёт. Глотаёт. Она как работающий механизм,

а не живой человек. И в этом механизме не прослеживалось ни одной лишней детали. Ни единого движения, которое не было бы функциональным. Ни одного жеста, который не служил бы понятной цели: поесть, вымыть, убрать, приготовить. Она была функцией. Не живой женщиной, а именно функцией. Функцией «жена», исполняемой идеально, безупречно, без малейшего сбоя.

Вот только функции не бывают счастливыми. Функции не бывают и несчастными. Функции просто работают.

Он допил чай и поднялся из-за стола. Отнёс тарелку к раковине. Она молча забрала её. Открыла кран. Потекли струи воды. Губка, тарелка, круговые движения.

Он вышел в коридор. Зеркало. Посмотрел на своё отражение. Всё тот же мужчина. Те же глаза. Но сегодня в них была не просто тень. Сегодня там застыл вопрос. Один, чёткий, отчеканенный, с острыми, режущими краями: «Почему я ничего не помню?».

Он стоял перед зеркалом и мысленно задавал этот вопрос самому себе. Не голосом, а мыслями изнутри. Из того самого места, где раньше царила пустота, а теперь зияла трещина. Он спрашивал, и трещина отзывалась. Не ответом, а эхом — тихим, далёким, словно доносящийся крик из соседней запертой комнаты, где давно никто не живёт.

Он отвернулся от зеркала и пошёл к рабочему столу. Сел. Включил монитор. Цифры. Таблицы. Положил пальцы на клавиатуру, но так и не нажал ни одной клавиши. Просто си-

дел и смотрел на пульсирующий курсор. Курсор мигал: раз, два, три, четыре... Ритмично, как пульс. Как метроном. Как и всё остальное в его жизни — ритмично, ровно, без единого перебоя.

Он убрал руки с клавиатуры, отодвинул стул и посмотрел в окно. Серое небо. Серый двор. Серая стена.

И подумал — впервые в жизни подумал предельно ясно, чётко, без привычного сероватого тумана: «Я ведь никогда не жил. Ни единого дня. Я не жил — я просто функционировал. В точности как она. Как этот будильник, как чайник, как водопроводный кран или стиральная машина. Я был всего лишь механизмом, беспрекословно выполняющим заданную программу. И даже сейчас, с этой новой мыслью в голове, с этим застрявшим вопросом и с этой растущей трещиной — я всё ещё нахожусь внутри программы. Я думаю, но думаю строго в рамках алгоритма. Я сомневаюсь, но делаю это по расписанию. Я задаю себе вопросы между обедом и ужином, между первым и вторым отчётом — словно очередную запланированную задачу, которую мозг выполнил и спокойно поставил галочку».

Он повернулся к монитору. Пальцы снова легли на клавиатуру. Щёлк, щёлк, щёлк. Цифра за цифрой. Строка за строкой. 11:20. 12:13. Время неумолимо шло.

А трещина внутри продолжала расти.

Глава 4. Нарушитель спокойствия

Решение пришло не сразу. Оно и не было решением в привычном смысле — когда человек обдумывает, взвешивает, выбирает из нескольких вариантов. Оно выросло прямо из трещины, словно сорняк из щели в бетоне: само по себе, без разрешения, без видимой причины. Просто в один из вечеров он не пошёл в спальню.

Она уже ушла. Он слышал, как дверь тихо прикрылась — не до конца, оставив узкую щель, через которую протянулась бледная полоса полумрака. Свет в спальне она не включала. Никогда. Они всегда ложились в полной темноте. Он даже не знал, как она раздевается, как надевает пижаму, как ложится в постель. Он знал только итоговый результат: утро, пустая половина кровати, слепо примятая подушка.

Он сидел в кресле. Гостиная, фонарь за окном, жёлтый прямоугольник на потолке. Но сегодня он не смотрел на этот прямоугольник. Сегодня он смотрел на часы. Телефон лежал у него на коленях, яркий экран светился в темноте. 21:47. 21:48. 21:49. Каждая минута ложилась на него тяжестью. Не физической — иной, внутренней, словно само время обрело вес, и каждая минута, проходившая мимо установленного расписания, придавливала его к креслу всё сильнее.

В 21:30 он должен был лечь. Это было не обязательное правило — он и не помнил, чтобы кто-то когда-либо уста-

навливал для него правила. Это было чем-то естественным, как дыхание. Просто так устроено: в 21:30 — кровать. Но сейчас на часах было 21:53, а он всё ещё сидел в кресле, кровати не было рядом, и каждая минута после 21:30 ощущалась как маленькое преступление. Незначительное, бессмысленное, но всё же преступление. Нарушение порядка. Сбой в налаженном механизме.

Его тело рвалось встать. Не разум — разум молчал, безмолвствовал точно так же, как безмолвствовал все эти недели, месяцы и годы. Тело. Мышцы ног, спины, шеи — всё напрягалось, тянуло его вверх, увлекало в коридор, в спальню, к кровати, в привычную темноту. Словно тело находилось на невидимом поводке, и кто-то дёргал за него [мягко, но настойчиво]: «Иди. Ляг. Спи. Тебе пора».

Он не встал.

22:00. Цифры на экране сменились. Часы показывали это новое, непривычное время, и оно выглядело чужим. Он никогда не видел этого времени. В 22:00 он всегда уже спал — или, точнее, находился в том состоянии, которое заменяло ему сон: тяжёлый, бездонный провал, из которого не было возврата до самого утра. А сейчас он сидел, и 22:00 существовало прямо перед ним, вокруг него, внутри него, и оно было совсем другим. Сам воздух в комнате стал иным. В нём чувствовалось что-то неуловимое. Словно воздух, который он вдыхал днём, был одним, а воздух после 22:00 — совершенно другим. Гуще. Тише. Глубже. Как будто ночью

мир наконец показывал своё настоящее лицо [то, которое так тщательно прятал за дневной суетой], и это лицо казалось абсолютно пустым.

22:15. Она заворочалась в спальне. Скрипнул матрас. Зашуршало одеяло. Он прислушался. Снова тихо. Она не встала. Не вышла спросить, почему он до сих пор не лёг. Не позвала его. Может быть, не заметила. Может быть, заметила, но ей было всё равно. Возможно, она так же механически принимала его отсутствие, как принимала и его присутствие — без единой реакции, без удивления, без вопросов.

22:30. Тело ныло. Не от усталости — от сопротивления. Мышцы вибрировали мелкой, непрекращающейся дрожью, как туго натянутая струна. Он сильнее сжал подлокотники кресла. Кожа [или кожзам] тихо скрипнула под пальцами. Он держался. Не знал точно, за что именно — за подлокотники, за кресло или за это новое, странное, неправильное время, в которое он впервые в жизни шагнул. Держался так, как держится человек на самом краю крыши: не из-за страха упасть, а потому, что сам факт стояния на краю — это уже нечто. Нечто такое, чего не существовало в его жизни до этой самой секунды.

22:47. Глаза начали слипаться. Но не так, как обычно — не привычным приливом, не волной тяжёлой вязкой жидкости, затапливающей голову. Иначе. Веки тяжелели, мутнели, но за ними [за этими тяжёлыми, смыкающимися веками] что-то проступало. Не пустота. Не та дневная, безликая

и привычная пустота. Там, за закрытыми веками, в глубине его собственной внутренней темноты, что-то шевелилось. Какая-то не оформившаяся мысль. Движение. Самое первобытное, базовое движение чего-то, что оставалось абсолютно неподвижным очень, очень долго.

Он заставил себя открыть глаза. Свет от экрана телефона резанул по сетчатке. 22:53. Он встал.

Не для того, чтобы лечь. Встал — и пошёл на кухню. Ноги были ватные, непослушные. Он шёл по коридору, и ему казалось, что пол под ним качается, как палуба. Стены коридора — близко, слишком близко. Он протянул руку, коснулся обоев. Бумажные, прохладные, с мелким, неясным узором, который он никогда не рассматривал. Пальцы скользнули по стене. Он шёл, касаясь стены, как слепой.

На кухне было темно. Он не включил свет. Стоял в дверях, прислонившись плечом к косяку, и смотрел. Контур стола. Контур стульев. Контур плиты. Контур окна — серый, чуть светлее стен. Всё знакомое, дневное, привычное, но в темноте другое. Не свое. Чужое. Как будто кухня ночью принадлежала не им, а кому-то ещё, кто пользовался ею, когда они спали.

Он подошёл к окну. Прижался лбом к стеклу. Холод. Двор. Фонарь. Те же деревья. Та же площадка. Но ночная. Пустая. Жёлтый свет фонаря лежал на асфальте неровным кругом, и в этом круге — ничего. Пустота, освещённая жёлтым светом.

Он стоял и смотрел, и холод стекла забирался в лоб, в виски, за глаза, и где-то там, внутри, за глазами, в той темноте, которая начала шевелиться полчаса назад, — что-то отозвалось. Отозвалось на двор. На деревья. На пустую площадку. Что-то внутри него узнало это — не узнало в смысле вспомнило, нет. Узнало в смысле — отозвалось, как струна отзывается на ноту, сыгранную на другом инструменте. Резонанс. Слабый, почти незаметный. Но — резонанс.

Он вернулся в кресло. 23:10. Тело болело. Не болью — тупым, ноющим напряжением, как после долгого бега. Или после долгого сидения в неудобной позе. Он не мог найти положение, в котором было бы терпимо. Каждая поза — неудобная. Каждое положение тела — неправильное. Он ёрзал, переставлял ноги, клал руки на подлокотники, убирал, скрещивал на груди, опускал вдоль тела. Ничего не помогало. Тело хотело одного — кровати. Горизонтального положения. Закрытых глаз. Темноты. Покоя.

Он не дал ему этого.

23:30. Впервые в жизни — или в том, что он помнил как жизнь — он был бодрствующим в это время. И это было — да, вот слово — страшно. Не в смысле ужаса, не в смысле паники. В смысле первобытном, дочеловеческом. Страх темноты, страх ночи, страх того, что скрывается за привычным миром, когда привычный мир засыпает. Он сидел в кресле, взрослый мужчина тридцати шести лет, и боялся. Боялся не чего-то конкретного, ничего конкретного и не было. Боялся

— вообще. Того, что ночь откроет ему что-то, что день прятал. Того, что темнота за окном и темнота за закрытыми веками — это одна темнота. И в ней что-то есть. А в ней что-то было.

23:48. Он встал. Пошёл к компьютеру. Включил монитор. Яркость резанула глаза, и он отвернулся, зажмурившись. Потом — убавил. Экран потускнел, стал серым, мягким. Он открыл таблицу. Цифры. Те же цифры. Но ночью цифры выглядели иначе. Днём они были работой, занятием, рутиной. Ночью — они были бессмысленными значками на светящемся прямоугольнике. Абсурдными. Зачем? Кому? Для чего? Он смотрел на столбцы чисел и видел — впервые видел — что они ничего не значат. Не в том смысле, что он не понимал их значения. Свою работу они делали. В том смысле, что значения не было. Не существовало. Цифры были пустыми. Как он. Как она. Как квартира, как всё. Просто часть его жизни, а не что-то действительно важное.

00:14. Он сидел перед экраном и ничего не делал. Просто сидел. Глаза горели. Голова была тяжёлая, густая, как будто её наполнили мокрым песком. Мысли — если это были мысли — ползли медленно, путано, обрывались на середине и начинались заново. Он ловил себя на том, что смотрит на одну и ту же ячейку таблицы уже несколько минут и не видит её. Видит — но не воспринимает. Мозг отключался. Не полностью — частями. Как ёлочная гирлянда, в которой перегорели половина лампочек: мигает, тухнет, мигает, тухнет.

00:33. Он встал из-за стола. Пошёл в ванную. Умылся холодной водой. Вода была ледяная, обжигающая. Она ударила по лицу, как пощёчина, и на секунду — на одну, короткую, яркую секунду — он почувствовал себя. Именно себя. Свой собственный вес, свою собственную плоть, своё собственное присутствие здесь, в этом месте, в это время. Секунда прошла. Он посмотрел в зеркало. Лицо было мокрое, глаза — красные. Из крана капала вода. Кап. Кап. Кап. Ритм — ровный, как пульс, как будильник, как всё. Но этот ритм был — его. Не навязанный, не запрограммированный. Его. Капля падала, потому что падала, а не потому, что так было расписано.

00:51. Он вернулся в кресло. Не пошёл в кровать. Сел в кресло. Тело уже не ныло — оно стонало. Каждая мышца, каждый сустав, каждая клетка требовали сна. Он не мог вспомнить, когда последний раз чувствовал тело так отчётливо. Днём тело было невидимым — руки двигались, ноги ходили, челюсть жевала, и он не замечал их, не чувствовал, не осознавал. Тело было инструментом, и инструмент не обращает на себя внимания, пока работает. А сейчас тело не работало. Оно бастовало. И в этом бунте, в этом восстании плоти против расписания — было что-то живое. Что-то, чего не было в яичнице и в супе, и в цифрах, которыми он до этого момента жил.

Он закрыл глаза.

Темнота пришла — но не та, ночная, густая, приливная.

Другая. В этот раз другая. Рваная, мерцающая, с провалами и вспышками. Он не спал. Знал, что не спит. Но и не бодрствовал — не в том смысле, в котором бодрствовал днём. Он был — между. В каком-то третьем состоянии, о существовании которого не подозревал. И в этом состоянии темнота за закрытыми веками изменилась. Она стала — не пустой. В ней что-то было. Не образ — ещё нет. Но в ней ощущалось присутствие. Это было ощущение, что в темноте есть кто-то. Или что-то. Не враждебное, не пугающее — просто другое. Отдельное. Живущее своей жизнью, к которой он не имел доступа.

Он открыл глаза. 1:07. Три часа после расписания. Три часа украденного времени. Он сидел в кресле, тело его было измучено, а голова была пустая, выжатая, и в то же время — переполненная. Переполненная ничем. Тем ничем, которое было тяжелее чего-то.

Он встал. Пошёл в спальню. Тёмный коридор, тёмная дверь. Она лежала на правом боку, спиной. Дыхание — ровное, тихое, как у спящего человека. Или как у машины на холостом ходу. Он лёг. Одеяло. Подушка. Темнота.

Сон не пришёл. Прилив не начался. Он лежал и смотрел в потолок — в тот потолок, который не видел, потому что было темно, но знал, что он там, белый, ровный, без трещин. А трещина была внутри. И сегодня, после трёх часов бодрствования, после холода и мокрого песка в голове и ноющего тела и пустых цифр и капающей воды — трещина стала

шире. Значительно шире. Он чувствовал её края — острые, чувствительные, как края свежей раны.

Сон пришёл в 1:40. Он его сразу поглотил. Всё случилось быстро, как падение в яму. Один момент — он лежал, смотрел в темноту, чувствовал одеяло на груди. Следующий момент — утро. Без одной минуты семь. Рука. Тумбочка. Кнопка.

Он лежал. Потолок. Белый. Ровный.

Но что-то было иначе. Он не мог сказать что. Не мог сформулировать, назвать, описать. Но что-то — в теле, в голове, в воздухе квартиры — сдвинулось. Как будто кто-то переставил один предмет в комнате, и ты не можешь понять какой, но чувствуешь, что комната изменилась.

Он встал. Пошёл на кухню. Она стояла у плиты. Халат. Волосы. Спина.

— Доброе утро, — сказал он.

— Доброе, — ответила она.

Яичница. Два яйца. Хлеб. Масло. Чай.

Он сел. Она села. Он смотрел на неё, и впервые — впервые за всё время, которое помнил — он видел в ней не механизм. Не функцию. Нет, она по-прежнему была механизмом — вилка, хлеб, челюсть, глоток. Но за этим механизмом, как за стеклом, он увидел — или ему показалось, что увидел — что-то. Что-то, что механизм скрывал. Что-то, что было до механизма. Что-то, что механизм заменял.

Что-то живое.

Или — что-то, что было живым когда-то.

Она подняла глаза и поймала его взгляд. Пауза — та самая, доля секунды, буферизация. Потом улыбка. Короткая. Губы.

— Всё хорошо? — спросила она.

— Да, — сказал он. — Всё хорошо.

Он ел. Яичница была такая же. Хлеб был такой же. Чай был такой же. Но он ел, и за окном было серое небо, и он знал — знал так, как знаешь, что рука болит, — что сегодняшней ночью он снова не ляжет в 21:30. И завтра ночью. И послезавтра. Он будет сидеть в кресле, и смотреть на прямоугольник фонаря, на телефон и чувствовать, как тело бунтует, и ждать, пока темнота за закрытыми веками перестанет быть пустой.

Потому что она перестанет. Он это знал. Не надеялся — знал. Трещина росла. И за трещиной — что-то было.

Глава 5. Первые тени

Следующую ночь он просидел в кресле до двух. Следующую — до трёх. На четвёртую ночь тело сдалось и перестало сопротивляться. Оно просто смирилось с новым правилом — как смиряются с погодой. Если ночью нужно бодрствовать — значит, нужно бодрствовать. Мышцы перестали ныть. Глаза перестали гореть. Осталась только тяжесть — ровная, постоянная, как привязанный к спине груз.

Днём мир изменился. Не сильно. Не разительно. Но изменился.

Контур вещей стал мягче, расплывчатей. Линии, которые раньше были чёткими, — край стола, рама окна, силуэт жены в дверном проёме — потеряли остроту. Как будто с глаз сняли фильтр, который до этого делал всё слишком резким, слишком определённым, и теперь предметы дышали, двигались, жили своей медленной, едва заметной жизнью. Цвета тоже стали другими. Серое небо за окном больше не было просто серым. В нём проступили оттенки — голубоватый, желтоватый, где-то на горизонте — полоса, почти белая, почти светлая. Или ему казалось. Он не мог быть в этом уверен.

Зато звуки — звуки стали громче. Капля из крана, которая раньше была фоном, теперь била по раковине, как маленький молоток. Скрип стула, шорох ткани, дыхание жены, когда она спит — всё это существовало раньше, но теперь

он слышал. И специально слушал. Не мог не слушать, потому что бессонница обострила слух, как обостряет она всё — чувства, восприятие, тревогу.

Тревога тоже была. С самого утра, с первой секунды после пробуждения, — тупая, ноющая, без причины и без направления. Она жила где-то в солнечном сплетении, тёплая и тяжёлая, и не уходила.

На пятую ночь он заснул в кресле.

Не хотел — просто заснул. Сидя. Голова упала на грудь, руки повисли вдоль подлокотников. Он не помнил момента засыпания. Просто внезапно провалился в сон.

И увидел.

Двор. Не их двор — не тот, что за окном квартиры. Другой. Больше. Шире. Земля — не асфальт, а утоптанная, жёлтая, сухая. Забор — деревянный, серый от старости, с одной доской, выгнутой наружу, как будто что-то давило на него изнутри. И запах. Земля. Тёплая земля. Сухая трава. Пыль. Запах был таким настоящим, таким плотным, что он почувствовал его во рту, на языке, в горле. Во сне он стоял посреди этого двора и смотрел на забор, на выгнутую доску, на землю, и всё это было знакомо. Знакомо до боли, до спазма в груди. Знакомо так, как бывает знакома песня, которую ты слышал в детстве, — слова в точности не помнишь, мелодию не помнишь, но тело помнит, как оно двигалось под эту песню.

Потом — звук. За забором. Звук тяжёлый, ритмичный.

Цоканье. Когти по дереву. И тень — большая, тёмная, метнулась вдоль забора, из-за выгнутой доски, и скрылась. Он не видел, что это. Но тело знало. Тело напряглось, подалось вперёд, и во сне он сделал шаг к забору. Потянул руку к выгнутой доске, чтобы отодвинуть.

И — смех.

Женский смех. Где-то за спиной. Звонкий, лёгкий, живой. Смех, который начинается в животе и поднимается вверх, через грудь, через горло, и вырывается наружу, как пузырьёк воздуха из воды. Он обернулся — и не увидел лица. Только силуэт. Женский силуэт на фоне чего-то светлого — неба, стены, света. Волосы — не в хвосте, как сейчас, а распущенные. Движение — быстрое, живое, руками. Она звала его. Или звала кого-то. Или просто смеялась.

И ещё звук. Тонкий, высокий. Не смех. Плач? Нет. Восклицание. Детский голос. Маленький, тонкий, как струна. Что-то говорил — он не разбирал слов, только интонацию. Радостную. Требовательную. Просительную. Детский голос, который что-то просил, что-то хотел и тянул к нему руки.

Потом — всё разом. Темнота. Пустота. Провал.

Он проснулся в кресле. Руки обхватили подлокотники. Пальцы белые, костяшки напряжены. Сердце билось — быстро, тяжело, где-то в горле, заглушая дыхание. На часах было 4:17. За окном — ночь. Фонарь. Прямоугольник на потолке.

Он сидел, хватая ртом воздух, и пытался удержать. Удер-

жать двор, запах земли, забор, смех, детский голос. Но они уходили. Таяли, как тает лёд в тёплой воде — по краям, кусками, пока от цельного образа не оставалась только вода. У него оставалось только ощущение. Тяжесть в груди. Тепло в животе. И тоска. Такая, от которой хотелось лечь на пол и не двигаться.

Он не лёг. Сидел в кресле до утра, до без одной минуты семь, до будильника, который не зазвонил, потому что его рука, как всегда, нажала кнопку раньше. Встал. Пошёл на кухню.

Она стояла у плиты.

Он смотрел на неё — и видел. Другую. Ту, из сна. Ту, которая смеялась. Ту, у которой были распущенные волосы и быстрые руки. Он смотрел на спину жены — серый халат, тусклый хвост, согнутая поза — и пытался совместить эти разные образы. Наложить одну на другую, как накладывают кальку на рисунок, чтобы проверить совпадение. Не совпадало. Они были разными женщинами. Или одной — но настолько изменившейся, что от прежней осталась только форма, только контур, только имя.

— Лен, — сказал он.

Она обернулась. Лицо. Глаза. Пустые, спокойные. Ждущие.

— У нас была собака?

Он сказал это, и слова повисли в воздухе, тяжёлые, неуместные, как будто он заговорил на языке, которого она

не понимала. Она смотрела на него. Секунду. Две. И в эти две секунды — он видел, видел отчётливо, потому что бессонница обострила его зрение, что её лицо изменилось. Губы дрогнули. Мышца на скуле дёрнулась. Глаза — те самые, пустые, стеклянные — на один миг стали другими. В них мелькнуло что-то живое. Испуганное. Тёмное. Как рыба, которая всплыла со дна на секунду и снова ушла в глубину.

— Нет, — сказала она. — У нас никогда не было собаки. И отвернулась к плите.

Он стоял в дверях и смотрел на её спину. На серый халат. На тусклый хвост. На руки, которые взяли лопатку и перевернули яичницу. Он стоял и знал — знало его тело, знала его кожа, знала та трещина внутри, которая росла с каждым часом бессонницы, — она солгала. Нет, не так. Она не солгала. Она сказала неправду, но сказала её голосом человека, который сам верит в то, что говорит. Или хочет верить. Или должен верить, потому что если перестанет — что-то сломается.

Он сел за стол. Она поставила перед ним тарелку. Яичница. Два яйца. Хлеб. Масло. Чай. Он не притронулся. Сидел и смотрел на еду, и в голове — в той голове, которая ещё вчера была серой и безвидной — крутились обрывки сна. Двор. Забор. Выгнутая доска. Цоканье когтей. Тень за забором. Смех. Детский голос.

Детский голос.

Он закрыл глаза и попытался услышать его снова. Тон-

кий. Высокий. Просительный. Что-то говорил. Какие-то слова. Он не разбирал. Не мог разобрать. Но интонация — радостная, требовательная, тянущая — стояла в ушах, как звук камертона после удара. Длинный, медленно затухающий.

— Ты не ешь, — сказала она.

Он открыл глаза. Она сидела напротив, смотрела на него. Лицо снова было гладким, спокойным, пустым. Рыба ушла на дно.

— Сейчас поем, — сказал он. — Просто задумался.

Она кивнула. Улыбнулась, как всегда, только краем губ. Встала, забрала свою тарелку, поставила в раковину. Вода. Губка. Круговые движения.

Он взял вилку. Ел. Яичница была безвкусная. Нет — не безвкусная. Вкус был. Горячий. Солёный. Желток. Но вкус не имел значения. Имеющее значение было в другом месте. Во сне. В том дворе, что он видел. В том заборе, который он пытался потрогать. В детском голосе, который он не мог разобрать и который — он это знал, чувствовал каждой клеткой — был важнее всего. Важнее яичницы, важнее цифр, важнее денег на карте, важнее серого неба и всего-всего на свете.

Днём он сидел за компьютером и не работал. Монитор светился. Курсор мигал. Он смотрел на экран и не видел цифр. Он видел двор. Утоптанную землю. Сухую траву. Запах — тёплый, густой, живой. И тень за забором — большую, тёмную, живую.

Собака.

У них была собака. Он знал это теперь. Знал не умом — ум по-прежнему молчал, по-прежнему был пуст. Знал телом. Кожей. Мышцами, которые во сне подались вперёд, к забору, к выгнутой доске. Руками, которые потянулись к ней. Сердцем, которое забилось быстрее при звуке когтей по дереву. Всё его тело помнило собаку. Большую. Тёмную. С тяжёлым дыханием и тёплой шерстью.

Какую собаку? Он не видел. Только тень. Только звук. Только ощущение — что-то большое, сильное, рядом. Рядом с домом. Рядом с ним. Рядом с... кем?

Детский голос.

Он снова услышал его — не во сне, наяву, сидя за компьютером, глядя на цифры. Тонкий, высокий, тянущий. И снова — слова. На границе слышимости, на границе понимания, как разговор за стеной, который чувствуешь, но не различаешь. Кто-то маленький. Кто-то, кто хотел что-то. Кто-то, кто тянул к нему руки.

Он отодвинулся от стола. Встал. Прошёл по коридору. Остановился у зеркала. Посмотрел на себя. Красные глаза. Тёмные круги под ними. Лицо — осунувшееся, постаревшее. Но глаза — глаза были живые. Впервые за всё время, которое он помнил, его глаза были живыми. В них горел огонёк — маленький, дрожащий, как пламя свечи на сквозняке. Огонёк страха. Огонёк узнавания. Огонёк того, что начинает просыпаться.

Трещина росла.

Он провёл рукой по лицу — по щеке, подбородку, шее. Коснулся ключицы. И замер. Ключица была тонкая, выступающая. Под ней — грудная клетка. Под грудной клеткой — сердце. Оно билось. Тук. Тук. Тук. Но где-то глубже, за сердцем, за рёбрами, в том месте, куда рука не дотягивается, — там болело. Тупо, ноюще, постоянно. Не физически. Другой болью. Болью, у которой не было названия, потому что он не помнил, откуда она. Не помнил, чему она принадлежит. Просто — болело. Всё время. С тех пор, как он увидел сон. С тех пор, как услышал смех и детский голос.

В 14:00 она позвала обедать. Привычным стуком. Суп. Он сел. Она села. Он смотрел на неё и думал: ты помнишь? Ты помнишь двор? Забор? Собаку? Тот смех — свой собственный смех, звонкий, живой, которого теперь нет? Детский голос — чей он? Кто это был?

— Лен, — сказал он.

Она подняла глаза.

— Ты помнишь, чтобы ты смеялась?

Она смотрела на него. Пауза. Дольше обычной. Та самая буферизация, но медленнее, заметнее. Что-то в ней сопротивлялось вопросу. Что-то пыталось его обработать, классифицировать, подобрать ответ.

— Я смеюсь, — сказала она. — Когда тебе весело.

— Когда мне было весело?

Она не ответила. Улыбнулась — коротко, одними губами.

Опустила глаза в тарелку. Ложка. Суп. Жевать. Глотать.

Он ел. Не чувствовал вкуса. Чувствовал только ту, внутреннюю боль, которая не уходила. Которая, казалось, росла вместе с трещиной. Которая — он начинал это понимать — была не следствием бессонницы. Бессонница была следствием боли. Боль была первична. Она была здесь всегда. Просто раньше она была закрыта — похоронена под слоями рутины, расписания, пустоты. А теперь, когда он начал снимать слои — один за другим, ночь за ночью, — боль проступала. Как проступает татуировка, когда стирают слой грязи с кожи.

Вечером, после ужина, она ушла в спальню. Он остался в кресле. Телефон на коленях. Экран. 21:38. 21:39. 21:40.

Он закрыл глаза.

Темнота. Внутренняя. И в ней — присутствие. Сегодня ближе, чем вчера. Чётче. Сегодня он мог почти разглядеть. Почти услышать. Детский голос — на границе. Слов всё ещё не было, но интонация — ясная. Радостная. Требовательная. Тянущая. И ещё — запах. Тёплая земля. Сухая трава. И что-то ещё. Что-то сладковатое, тяжёлое. Что-то, что он не мог определить. Запах, который не принадлежал ни кухне, ни квартире, ни этому миру. Запах из того мира — из-за забора, из двора, из сна.

Он открыл глаза. 22:04. Тело не ныло. Тело устало, но усталость была другой — не той, изматывающей, первых ночей. Эта усталость была — рабочей. Полезной. Как усталость мышц после тренировки. Как усталость глаз после долгого

чтения. Эта усталость что-то делала с ним — что-то меняла, передвигала, разблокировала.

Он встал. Прошёл по коридору. Остановился у двери ванной. Открыл. Зеркало. Аптечка на стене — белая, пластиковая, с магнитным замком. Он открыл её. Полки. Тюбики, баночки, упаковки. Он не знал, что ищет. Просто смотрел. Зубная паста. Ватные диски. Бинт. Что-то ещё. На нижней полке — несколько упаковок таблеток. В блистерах, в баночках. Он взял одну. Прочитал название. Не понял. Взял другую. Прочитал. Тоже не понял. Названия были длинные, непронизносимые, на русском и на латыни. Он не знал этих слов. Не знал, от чего они. Не знал, чьи они.

Чьи?

Он перебрал упаковки. Шесть. Разные названия, разные дозировки, разные цвета блистеров. На двух — этикетки с датами и дозировками, написанные от руки. Почерк — не его. Не её. Чужой. Врач? Он не помнил, чтобы они ходили к врачу. Не помнил, чтобы жене прописывали лекарства. Не помнил аптеки, очередей, рецептов.

Он поставил упаковки обратно. Закрыв аптечку. Посмотрел на себя в зеркало. Красные глаза. Тёмные круги. Огонёк — дрожащий, живой.

Таблетки. Шесть упаковок. В ванной. У человека, который не болеет. У женщины, которая не работает, не выходит из дома, не разговаривает, не смеётся, не плачет, не живёт. Шесть упаковок определённо сильных, незнакомых, рецеп-

турных таблеток.

Он вышел из ванной. Подошёл к креслу. Сел. Закрыв глаза.

Темнота. Присутствие. Детский голос — ближе. Смех — дальше. Собака — где-то рядом, за краем видимого, тяжёлое дыхание, тёплая шерсть.

И боль. Та, безымянная, за рёбрами. Сегодня — сильнее. Сегодня она пульсировала, как второе сердце. И в её ритме — в ритме боли — он уловил что-то. Словно мелодия, которую долго искал и наконец услышал в шуме. В действительности это была не мелодия, а слово. Одно слово, повторяющееся, как биение сердца, как капля из крана, как мигание курсора.

Вернись. Вернись. Вернись.

Он не знал, к кому это слово было направлено. К нему — из темноты? Из темноты — к нему? От него — к кому-то, кого он не помнил?

Он открыл глаза. 23:48. Тихо. Она спала в спальне. Фонарь светил за окном. Прямоугольник дрожал на потолке.

Он сидел в кресле и ждал. Ждал, пока темнота снова его возьмёт. Ждал детского голоса. Ждал двора, и забора, и запаха земли. Ждал, потому что знал — там, в темноте за закрытыми веками, было что-то, что принадлежало ему. Что-то, что у него забрали. Что-то, что он забыл. И что-то, что начинало возвращаться.

Трещина росла. И за трещиной — был сон.

Глава 6. Воскрешение через истощение

К исходу второй недели бессонницы тело начало подводить.

Не так, как в первые дни — когда мышцы ныли и глаза горели. Тогда это было сопротивление. Тело боролось, требовало вернуться к расписанию, тянуло в кровать. Теперь сопротивление кончилось. Тело сдалось. И сдача оказалась хуже борьбы. Оно просто перестало работать. Руки — те, что вводили цифры в таблицу — стали медленными, непослушными. Палец нажимал не ту клавишу. Цифры путались. Он смотрел на экран и не мог понять, какую строку заполняет, зачем, для кого. Один отчёт, который раньше занимал полтора часа, он собирал четыре. Отправил с ошибкой. Вернулась автоматическая отписка: «Отчёт получен. Спасибо за работу.» Ни слова об ошибке. Ему было всё равно.

Ноги стали чужими. Он шёл по коридору и чувствовал пол так, словно между ступнёй и линолеумом лежал слой ваты. Колени подгибались. Не от слабости — от какого-то внутреннего рассогласования, как будто связи между мозгом и телом стали слишком тонкими и сигнал проходил с опозданием. Он поднимал ногу, а она затем опускалась на долю секунды позже, чем должна была. Мир дрожал. Контурыплы-

ли.

Сны приходили каждую ночь. Но это были не сны в привычном понимании — связные, разворачивающиеся в пространстве и времени. Это были вспышки. Осколки. Кадры из фильма, который крутили на скорости, в три раза превышающей нормальную, и он не мог различить лица, слова, последовательность. Только ощущения. Запах земли — яркий, плотный, забивающий ноздри. Тепло — от солнца, от шерсти, от маленьких рук, которые обхватывали его шею. Смех — женский, детский, сливающийся в один звук, одну волну, которая накрывала его с головой. И потом — тьма. И в тьме — то присутствие, которое теперь не просто было, а давило. Тяжёлое, горячее, живое. Оно толкалось изнутри, как толкается плод в чреве, и он не мог его выпустить, не мог до него дотянуться, не мог посмотреть.

Он просыпался мокрый, с трясущимися руками, и сидел, развалившись в кресле, пока за окном не серело небо. Потом вставал, шёл на кухню, ел яичницу, и всё начиналось сначала.

В субботу — он посмотрел на телефон, чтобы узнать день, и снова удивился себе, зачем ему это — в субботу утром он встал из-за стола после завтрака и обнаружил, что не может разогнуться. Спину ломило, поясница прострелила, и он на секунду замер, согнувшись пополам, ладони на коленях, лицо на уровне столешницы. Серая клеёнка с цветочным узором. Крошки от хлеба. Капля желтка. Он смотрел на них, и

крошки были огромными, как валуны, капля — озером, узор на клеёнке — картой незнакомой местности. Мир изменил масштаб. Или он изменился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.